

ТЕРПКИЙ ЗАПАХ ЕЛОЧНОЙ КОРЫ

Отблески судьбы в лирике Ивана Щёлокова

Не однажды в русской литературе возникал вопрос об отличии и сходстве художественных примет в раннем и позднем творчестве того или иного писателя и поэта. Несомненно, рассматривать давние и новые произведения художника в отрыве от его личности нелепо. Эволюция внутреннего мира и самого «голоса» автора есть то самое сквозное свойство его наследия или живой работы, которое помогает объяснить многие загадки и смутные места в его творениях. И потому важно понимать: в чем разница вещей давних и новых, и как подобная взаимная несхожесть соотносится со временем, в котором тот или иной создатель художественного космоса жил и радовался, надеялся и горевал, негодовал и признавался в самом сокровенном. Только тогда мы сможем не только понять, но и оценить самые искренние порывы мятежного сердца молодого поэта, равно как и его поздние, умудренные жизненным опытом и нередко напитанные печалью слова, адресованные современнику.

Стихи воронежского поэта Ивана Щёлокова содержат два важных акцента, часто словно вступающих в скрытый спор друг с другом. Это понимание себя наследником русской традиции и желание быть в разумном и эмоциональном согласии с веком: его духом, эстетикой, тенденциями, идеологемами.

«Молодые» стихотворения поэта полны оптимизма и упоения жизнью, что вполне объяснимо: на дворе — советская эпоха, ее недостатки тесно сплетены с достоинствами, а юная душа стремится только к хорошему, и горечь еще не поселилась в деятельном, полном упований сердце.

Более зрелые сюжеты Щёлокова связаны с десятилетиями безудержных экономических и идеологических «реформ», когда жестокость и цинизм, ложь и вероломство проникли во все поры российского общества. Здесь измученный сомнениями ум и плененное социальными обстоятельствами чувство иной раз опутаны отчаянием и скорбью, но все еще помнят прежнюю житейскую свободу и упоительное творческое вдохновение.

И наконец, лирика нынешних лет, в которой созерцательность не отменяет авторскую способность называть вещи своими именами, добрыми или безжалостными, но соединяет локальные лирико-поэтические картины и наблюдения с обширным пространством бытия. Как будто произошла некая трансформация ощущения лирического героя в наличном мире: расстояния между предметами внезапно резко увеличились, воздуха стало ровно столько, чтобы поддерживать дыхание, и всякое движение оказалось возможным чуть замедлить или, напротив, подтолкнуть и ускорить.

Увидев, как менялась с годами способность поэта услышать время и понять собственную роль в происходящих событиях, более подробно остановимся на интонациях автора и особенностях его художественной речи, на соотношении всего вещественного и отвлеченного, умозрительного. Того, что как бы «не обязательно» для житейского существования, но совершенно необходимо для жизни души, умеющей задавать вопросы и находить ответы — простые и сложные, умные и наивные, взрослые и детские... Это позволит понять, какой собеседник перед нами и что общего у поэта, читателя и мгновения, в котором они живут.

Надо сказать, что у Щёлокова многие строки, фиксирующие реальность (даже если она дается в «расширенных» чертах), большей частью остаются привязанными к дате создания соответствующего сюжета. Только лирические истории, в которых давняя боль не избытка до сих пор, выпадают из этого правила. И тогда становится понятно, что с личным устройством сложившегося ныне автора более соотносимы наблюдения горькие, нежели оптимистичные, хотя эти последние представлены в своде написанного поэтом вполне объемно. Нарастание душевной тяготы, разочарования в приманках реальности для поэтической эволюции кажется в порядке вещей. Но это сухое наблюдение никак не подменяет собою перемещения авторской души от одного переживания к другому и рожденных ими проникновенных слов, пропитанных пережитым чувством.

Человек, уставший от вниманья,
С первым светом в утренней избе
Топит печь; и дым воспоминанья,
Гулко пробираясь по трубе,
В небеса клубит, не затмевая
Дней прожитых в огненных зрачках,
Жарким треском углей выжигая
Тишины абсурдной боль и страх.

<...>

Человек, уставший от вниманья,
От предательств, сплетен и интриг,
Лечится осознанным молчаньем
И неспешным чтением умных книг.
Курит трубку мира и покоя,
Стряхивая пепел суеты

В плошки из-под розы и левкоя,
И разводит новые цветы.
<...>
Неохотно думает о вечном—
Вечное же дымом сквозовым
Ввысь стремится, чтобы в бесконечном
Рассосаться облаком седым.

Строки, прикрепленные к текущему мгновению, не избавлены от упреков самого разного толка, но у Щёлокова эти лирические «фотоснимки» впоследствии рождают созвучные сюжеты уже другого качества — сосредоточенные и внутренне просторные. Как будто автору важно предварительно «потрогать» предмет и уже потом взвесить его на ладони и сказать что-то о скрытых его свойствах. Сначала вступает в действие некая импульсивность: резкое перемещение взгляда от одного к другому; потом происходит вглядывание в происходящее, после чего поэтическое «око» резко перемещается к чему-то иному. С подобной повадкой смотрят на окружающий мир птицы и некоторые звери, и в том — определенное свидетельство естественности такого созерцания. А смысл его — в полноте обозреваемой картины, а не в поиске ее доминанты.

Здесь совершенно отчетливо проявляется изобразительное качество лирики Ивана Щёлокова. Причем интонация стихотворения может быть какой угодно, потому что в нем голос — только помощник зрению, а вовсе не его «заместитель». Поэт способен нарисовать скупыми штрихами узнаваемый социальный или исторический этюд: внешний мир ему послушен, и автор находит самые выразительные приметы сиюминутности — «вехи времени».

В его строках нет высокомерного суда — только строгие слова, которые *называют* реальность. Да еще сожаление или едва уловимое сочувствие в моменты, когда речь идет о пропавшей жизни и красоте:

Здесь покоится Валуха —
Забубенная деваха,
Городских окраин шлюха
И невинных скромниц сваха.
Лет прошло — а помнят Вальку.
Кто осудит, кто поплачет:
— Непутевая, а жалко!
Не могла, видать, иначе...
Над могилой — черный мрамор,
А на нем — точеный профиль.
— И не пьется, вот, ни грамма,
И не любит дурехе!
Черный мрамор, словно плаха,
Для души, спаленной в жажде...
Мрамор тот последний хахаль
Притащил сюда однажды.

Некая отстраненность позволяет автору вести рассказ скупой, приводя чужие замечания, но оставляя неясный простор для собственного чувства. Сдержанность, выборочность характеристик — то, что формирует собственно художественную ткань стихотворения. Случается, что в более общих вещах у Щёлокова не хватает сквозного яркого образа, который заменяется сменяющимися друг друга яркими деталями, создавая своего рода «беглость» изображения. Но тут сказываются издержки его склонности к ретроспективе, которая в иных случаях позволяет автору создавать органичные поэтические сюжеты на материале драматической русской истории.

Слово «раскол» так или иначе отражает весь исторический путь России — от Крещения Руси до распада Советского Союза. Внутри хронологических скобок — Аввакум и Никон, Петр I и его преобразования по западной мерке, 1917-й — белые и красные, — советские и эмиграция, противостояние консерваторов и либералов последних десятилетий XX века... Отблеск этой «распри» время от времени вырывается на поверхность реальной жизни, показывая, что старый огонь былых противостояний еще тлеет в глубине русского сердца.

Стихотворение Ивана Щёлокова «Речка Красная» — содержательная и яркая вещь: отголоски древнего уже Раскола отражены в зеркале знакомой с детства реки и на страницах хроник родного края. Старые смыслы соединяются с новым обиходом, и великий круг событий никак не может преодолеть почти мистическую линию разрыва нашего бытия.

Доля-долюшка неясная,
Всю испей, да не отравись!
Отчего ж ты, речка Красная,
За камыш водой цепляешься?
Отчего же тинной-ряскою
Затянулись родники?
Лишь торчат живыми распрями
Из трясины топляки.
Берег левый — глушь пустынная,
Правый — тишь от большака...
Сторона моя старинная,
Больно рана глубока!

Словарь поэта в тематически разных стихотворениях довольно широк: в нем и городская речь органична, и сельские приметы выглядят «своими», хотя уже как бы и находящимися в отдалении. Вполне литературный слог, в зависимости от конкретного сюжета, может уходить и в разговорную лексику. Заметим, именно словарь определяет у Щёлокова достоверность пространства, в котором существует его лирический герой.

Старый сельский окоем с бездонным небом и дыханием какой-то неизъяснимой свободы уступает место городскому пейзажу, в котором вроде бы куда больше мелких подробностей, но пространство жизни и действия сжимается и словно даже мельчает, становится менее объемным: в нем неуловимо начинает прочитываться некое *бытийное дно*.

У Щёлокова часто внешние детали и предметы отражают внутреннее состояние и устройство души лирического героя. Конечно, можно сослаться на психологический параллелизм, однако здесь прочитывается, скорее, переключка осязаемого и умозрительного, а совсем не взаимное «ауканье» эмоционального состояния человека и окружающей его среды.

Пыхти, любимый катерок!
Плыви, душа, против течения!
Не всякий пройденный урок
Нам ценен поздним повтореньем.
И не маршрут привычный плох,
Тревожит мощный ток стремнины...
Молю, чтоб только не заглох,
Едва доплыв до середины.

Поэт порой вдруг соединяет некие общие слова с замечаниями прочувствованными, ранящими сердце, и эта лирическая склонность становится приметой авторской речи, как, например, в стихотворении «Наше время хворает...»:

Для кого эти хвори — надежда и свет,
Обагрённые славой знамена побед.

Для кого-то они — это плен и рабы,
Кубометры досок на родные гробы...

У Ивана Щёлокова отчетливо видно, как стихи держат душу героя внутри нравственных координат, как они не позволяют ему заступить за черту правды и справедливости. Поэзия тут определенно формирует личность, хотя уже стало дурным обыкновением использовать поэтические формы исключительно для самовыражения и самоутверждения. Перед нами — еще один наглядный пример влияния русской литературы на русскую жизнь.

Уходим не мы, а уходит эпоха.
Уходит тихонько, не хлопая дверью,
Как трепанный жизнью сосед-выпивоха
И как деревушка в болотах под Тверью.
Ей наших напутствий в дорогу не надо,
Она не сторонница людных прощаний.
Уходит — и все! Как пора листопада,
Как девушка в женщину после венчанья.
<...>
Пока я с народом на пляже под Сочи
Согретому морю восторженно внемлю,
Эпоха с подножки вагона соскочит
И скупой дождинкой впитается в землю.

Публицистика у Щёлокова идет рядом с бытийным наблюдением, и уже как следствие возникают строки сосредоточенные, как будто отвлеченные от внешних событий, в большей степени погруженные в потаенную душевную жизнь автора. И если в стихах, кажется, напрямую обращенных к «собеседнику», угадывается воля поэта и его социальная закалка, то в сокровенных сюжетах — он беззащитен и одинок перед уже невидимым читателем, скрытым в тени. В этот момент поэт — со всеми иными людьми, и его внутренняя мука перекликается со страданием, разлитым сегодня по всей России.

Эта птица не машет крылами,
Только душу скребет
Изнутри роковыми когтями,
Зная все наперед.
<...>
Даже зеркало следа не выдаст
От незримой борьбы.
Носим в душах, как платье на вырост,
Эту птицу судьбы.

В пространстве подобных сюжетов и рождается подлинный сокровенный человек, не ведомый никому внешнему. Невысказанная до конца боль напоминает нам о лермонтовской музе и об экзистенциальном одиночестве земного сердца. Драматические вопрошания «Кто я такой?», «Зачем я тут? Куда теперь из сада?» с неуклонной закономерностью возникают в лирике Ивана Щёлокова. Рассыпанные по всему корпусу его произведений, они, на первый взгляд, выглядят случайными оговорками, но на деле являются базовыми, опорными словами, лежащими в основании всего творчества поэта. В них есть оттенок разлада между печальным внутренним миром автора и зримым его обликом, в котором он появляется перед читателем.

Между тем его герой в череде мгновений ощущает себя человеком «средним» — между светом и тьмой, между наглядным и скрытым, между дарящим и

опустевшим, почти опустошенным... И возникает вопрос, который многое определяет: какой же фигурой поэт предстает в своих стихах? Социальное властно захватывает его думы и чувства, однако в итоге нередко оказывается только порывом, о котором чуть погодя он размышляет наедине с самим собою. И это последующее размышление становится более важным, чем все обстоятельства, извне терзающие его второе «я».

Сокровенные состояния и решения, по отношению к самому себе порой беспощадные, — вот что весомее всего остального. Потому и «после-событийность» в стихотворениях Ивана Щёлокова куда интереснее самих событий и сопутствующих им переживаний.

А ветер гнал остуду,
Клонил к обочью колос
И оставлял повсюду
Мой глуховатый голос.
И я сходил на землю
И замыкал пятою
Меж светом и меж тьмью
Зияние пустое.

Щёлоков любит описывать природу и ее движения. Очевидно, в подобной авторской склонности есть что-то от стремления к вечному, не обманному, предсказуемому, тяга к большим понятиям и явлениям, смысл которых не зависит от живого говора нынешней эпохи. Постепенно это становится для поэта самым важным и доверительным.

Друзья мои, я вышел из игры,
Из ваших душ, из ваших слов и снов,
Сменив подтексты истин и основ
На терпкий запах елочной коры.

В стихах появляется интонация спокойной мудрости, и все то, что прежде было инструментом убеждения или гражданской декларацией, обретает свою необходимую громкость и спокойную степенность речи. Все четче обозначается дистанция между собственной душой автора и временем, прошлым и настоящим. Ритм слов и наблюдений получает некоторую расстановку и неспешность — обычно это называют «глубоким дыханием». Мотив воспоминаний выглядит более внятными, а в признаниях ясно угадывается пережитое, передуманное и решенное...

В отличие от прежнего изобразительного ряда, похожего на динамичную серию фотоснимков, в поздних стихотворениях Ивана Щёлокова автору ближе постепенное вглядывание в предмет. словно он поверяет собственное место в земном и духовном пространстве вещами строго отобранными, для него непреходящими. Это похоже на подведение первых зрелых итогов воплотившейся судьбы, когда развеяны иллюзии, важные решения приняты, а жизнь, вовлекая поэта в свое донное течение, неуловимо меняет его зрение.

В том краю, где меня не увидишь,
Не коснешься губами щеки,
Зацветают старинные вишни
Над обрывом у самой реки.
Даже ветер залетный, пацански
Демонстрируя юную статью,
В лепестково-вишневое царство
Прокрадется тебя целовать.
В том краю ты меня не узнаешь,
Обойдешь этот сад стороной.

И устелет вишневая завязь
Завитушки тропинки пустой.
Следом ветер, пацан-забияка,
Зря блудивший в густом вишняке,
Из цветущего вырвется мрака
И с обрыва сорвется к реке.

Творческая эволюция Ивана Щёлокова есть скрытый от внешнего взгляда пример присутствия русского человека в земном мире. Все терзания и заблуждения отошедших в прошлое лет уступили место мудрости, которая не спешит догнать век и встать с ним наравне. Предназначение, угаданное и испытанное, позволяет ему сквозь неверные очертания жизни видеть удивительные волны бытия.

Что еще нужно художнику?

Вячеслав ЛЮТЫЙ

* * *

Назад обернусь — докучно,
Вперед загляну — тревожно.
Высокая дремлет тучка,
Ей все в этом небе можно.

Ей можно дождем пролиться,
А можно и в речку кануть...
В ней прошлое не толпится
Мгновеньями и веками.

В ней будущее туманно,
Как звездная пыль над дачей...
И кажется очень странным,
Что все у тебя иначе.

* * *

Ты — бегущая по осени,
Ты — летящая под струями,
Для чего играешь косами,
Как натянутыми струнами?

У мелодии неслаженной
В календарной звукозаписи
Что-то нежное и важное
От косых ветров погасится...

Паутиной дни, как нервами,
Перехлестнуты, пришпорены.
Не суди себя по первому
Звуку, канувшему в шорохи.

Не разбей сердечной хрупкости,
Не развей душевной зыбкости.
Мир и так оглох от глупости,
От пещерной первобытности.

* * *

Не сгорал над костром мотыльком на лету,
От соблазнов хвостом не вилял, словно пес,
Просто жил, даже если и невмоготу,
Жил, с чем вырос и что через годы пронес.

Не селился пичугой у гнезд воронья
И зерна не таскал из кормушек чужих...
Это здорово — жить, никого не виня,
И себя не винить заодно среди них.

Я свободно и прямо хожу по земле.
Весь открыт для ветров из любой стороны...
Не вздувается пламя в остывшей золе,
Затухают сердца, если души больны.

Солнце дарит мне свет, звезды — ночи красу.
Освежаюсь в грозу, а в метели грущу.
Мотылька пожалею, и птаху спасу,
Незлобиво на волю и пса отпущу.

Для того и дано имя мне — человек.
Остальное — все ложь с погруженьем в молву.
Не кончается день, продолжается век...
Я живу на земле, я любовью живу.

* * *

Давно не целовал твоей руки,
Как будто в этом не было резона.
Прогнозы лет, как в юности снежки,
Летят в окно по правилам сезона.

Пусть даже буду несколько смешон
На фоне дня, бульвара, снегопада,
Лицо по брови спрячу в капюшон,
Чтоб избежать взыскующего взгляда.

Шаги скользнут по линиям судьбы,
Споткнутся на запястье о морщины...
Прогнозы не спасают от мольбы,
А правила стареют, как мужчины.

Прости меня, что много-много лет
К твоей руке я не слетал, как птица.

Причин серьезных оправдаться нет,
Есть повод за былое повиниться.

Как прах вчерашний, капюшон смахну,
И хлынет мир веселый и цветастый
В мои зрачки. К твоей руке прильну
И тихо прошепчу: «Владей и царствуй!»

* * *

Смятенье... И листья метут и метут
То ветры, то дворники здесь и повсюду.
Смятенье — рубеж, непокорный редут.
Смущенье... Смещение... Смещение люда.

Ты в гуще — затылок в затылок, рот в рот,
Не где-то поодаль, не сбоку, не с краю...
Орет благим матом крутой поворот:
«Тут нет порубежного выхода к раю!»

Надрывное сердце кленовым листом
Впивается в глотку мятежного ряда:
«Мы все тут рожденные в муках Христом,
А ты нас толкаешь на поиски ада!»

Редут за редутом, рубеж к рубежу...
То ветры, то дворники... Скученно, ржаво.
Не осень — смятенье и пестрая жуть...
А раньше тут просто дорога бежала.

* * *

С проспекта Революции
Сверну на Карла Маркса.
Дома друг к дружке жмутся там
В свободных узах братства.

Пройдусь в плаще расстегнутом,
Не надувая щеки.
Припомню Славку Дёгтева¹
У старенькой хрущевки.

Он жил в бунтарском равенстве
С эпохой баламутной.
Кому-то и не нравился,
И нравился кому-то.

¹ Вячеслав Иванович Дёгтев (1959–2005) — воронежский и российский писатель.

Всех уравнила улица,
Как в новомодной пьесе:
Бомжа, студента-умницу,
Мажора в «мерседесе»...

В мгновениях прогулочных
Нагонит ветром мысли,
Что мы в названьях уличных,
Как в чьих-то снах, зависли.

* * *

Гадать — привычка скверная,
Загадывать — излишняя...
Давайте будем вербами,
Рябинами да вишнями.

Листвой с весны до осени
Шептаться без истерики
У речки ли, у просеки
Или в цивильном скверике...

Давайте будем рыбами,
Молчащими и плоскими,
Чтоб страсти не могли бы мы
Сердечные выплескивать.

Наверное, так проще нам
Себя с судьбою сращивать,
Любить в себе все прошлое,
Ругать все настоящее...

* * *

Она бушевала манерно, как дамочка,
Вгоняла пространство в озябшую плоть,
Рыдала и тут же смеялась, когда еще
Эмоций в себе не могла побороть.

Бросалась волчицей с холма по валежнику,
Почуяв добычу у поймы реки,
Затем возвращалась на прежнее лежбище
И в мерзлую землю вонзала клыки.

Минова бульвар с переулком по конусу,
Клубилась, как дым, и стелилась, как пух,
И пела волшебным, пронзительным голосом,
Лаская отчаянным путникам слух.

Она рисовала ромашки и лилии,
Лепила фигурки, чертила круги...
И не было в мире мгновений счастливее,
Чем женская шалость февральской пурги.

* * *

Для Пушкина — Черная речка,
Для Лермонтова — Машук...
Сквозь дуло смерть без осечки
Проложит к сердцам маршрут.

Потомкам — память и речи,
Вершинам — снегов мундштук...
От пули на Черной речке
Качнется седой Машук.

Не все из поэтов вечны,
Но ради того живем...
От эха на Черной речке
Заплачет Машук дождем.

Дуэлей скорбь скоротечна...
До крови скреби, рука
Певца, и лед Черной речки,
И камушки Машука!

От давних трагедий не легче,
Рвут души и посейчас...
Машук и Черная речка
От зла сберегают нас.

* * *

Е.Г. Новичихину

Внучка просит деда — огоньки из глаз:
— Можно я поеду тоже на Кавказ?

Дед — поэт на деле. Смеет ли претить?!
И не жалко денег внучку прокатить.

Самым скорым-скорым поездом с руки
Через степи, горы — и в Ессентуки.

Кисловодск, Минводы... Даже не гадай!
Этот край природы — для поэтов рай.

Спуски да подъемы, неба окоем...
В веке неужемном так ли все живем?

Вон Эльбрус в папахе, в бурке вон Машук.
Лермонтову прахом камень каждый тут.

Гениям же пули не страшней, чем ложь...
Что ж, взгрустни, лапуля, вырастешь — поймешь.

И пока глядели, были солнце, зной,
Вдруг, как в день дуэли, дождь с небес стеной.

Знак или примета? Кто же разберет!
Здесь душа поэта в вечности живет.

Мчит по небу тучка — божий тарантас...
Съездит с дедом внучка на Кавказ не раз.

* * *

Вдруг мне захотелось помчаться по кругу
Тех весен, тех зим к закадычному другу —
В распутицу, в наледь, в метельную полночь —
Не водки попить, не покликать на помощь,
А так, к настроенью, без всякой причины,
Как это бывает порой у мужчины...

Петляла, виляла, блуждала дорожка;
И вот они — улица, дом в три окошка,
Крыльцо, где дощечки с кудрявой резьбой,
И зябко в избе без дымков над трубою...
К старинному другу по гулкому следу
Никак не дойду, не домчусь, не доеду.

* * *

Душа давным-давно в покое,
Верней, бесцельна, чуть жива.
И на свершение какое
Ее подвигну ль я едва.

Она на летнем солнцепеке,
В глубокой сумрачной тени,
Не соблазняясь, без намека
Свои проводит в скуке дни.

А я ее и не тревожу,
Я до сих пор не разберусь,
Зачем в себе упрямо множу
Бесцельного сомненья груз.

Мне без нее бывает плохо,
И это вовсе не каприз:

В скелете нынешней эпохи
Душа почти как атавизм.

Порой зову ее, но тщетно:
Мой неуместный голос нем.
И грустно мне, и безответно.
Иду — куда? Живу — зачем?

* * *

Когда-то был я октябренок,
Носил на помочах штаны.
Зато желанным рос ребенком
У мамы, папы и страны.

Когда-то был я пионером —
К добру и помощи готов.
Для малышей служил примером,
Надеждою — для стариков.

Когда-то был я комсомольцем.
Нас юность к подвигам звала.
И верил я, что жизнь дается —
Вершить великие дела.

Когда-то был я коммунистом.
Ум, честь и совесть — все при мне.
Шагал под знаменем лучистым
С мечтой о счастье и стране.

Когда-то был я тем и этим,
С реальным именем, судьбой.
Теперь я ник в глобальной Сети,
Мне никогда не стать собой.

* * *

Уживитесь, даль и ветры,
Без межи и без вожжи
На одной десятой метра
Моей страждущей души.

Дело вовсе не в размере
И не в том, какая прыть.
Ковылями ходят нервы,
Значит, трудно просто жить.

Просто слышать, просто видеть,
Просто длить остаток лет,
Не любить и не обидеть,
Не слететь хоть раз в кювет.

И живет, судьбой играя,
День за днем на сердце страсть:
Примирить не примиряя
Время, судьбы, лица, власть.

* * *

Бабочка-пальцекрылка — как Христос.
Крылья-руки распяла — знать, к чему бы?
Клен из-под прядей багряных волос
К небу-евангелию тянет губы.

Колокол грянул — гордыня прошла.
Что-то не так или так, как не надо!
Бабочка на коре — взброс душа.
Ищет ли что у церковной ограды?

Сколько живу, не могу я понять
Смысл переменчивых пестрых мгновений,
Где тебя бабочкой могут распять
Без обязательства на воскрешенье.

* * *

У юности есть имя и судьба,
У памяти есть образ поклоненья.
От одного к другому поколенью
В сердцах не прекращается борьба.

Найдите мне иные времена,
Где счастье сплошь и отступили беды.
У юности всегдашний вкус победы,
А память ей для мужества дана.